

Юз
Алешковский

Собрание
сочинений
в шести
томах

Т.3



Юз Алешковский

**Собрание сочинений
в шести томах. Том 3**

«Издательские решения»

Алешковский Ю.

Собрание сочинений в шести томах. Том 3 / Ю. Алешковский —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-838048-8

В лице Юза Алешковского русская литературная традиция остается верной себе и отстаивает прежние ценности с той же страстью, с тем же воистину религиозным пафосом, что и во времена Достоевского и Толстого. «И тогда я начал носить повязку на глазах, чтобы оскверненные слова моего великого и могучего языка не кололи мне глаза, чтобы они не оскорбляли моего зрения и не плевали мне в сердце и в душу». Присцилла Майер. Профессор русского языка и литературы Уэслианского университета. США, Коннектикут.

ISBN 978-5-44-838048-8

© Алешковский Ю.
© Издательские решения

Содержание

Юзу Алешковскому от автора	7
Блошиное танго	8
От издателя	9
«Был день осенний, и листья грустно опадали...»	12
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Собрание сочинений в шести томах

Том 3

Юз Алешковский

Дизайнер обложки Александр Дунаенко

© Юз Алешковский, 2017

© Александр Дунаенко, дизайн обложки, 2017

ISBN 978-5-4483-8048-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Аннотация

Мне жаль, что нынешний Юз-прозаик, даже – представьте себе, романист – романист, поставим так ударение, – как-то заслонил его раннюю лирику, его старые песни. В тех первых песнях – я их все-таки больше всего люблю, может быть, потому, что иные из них рождались у меня на глазах, – что он делал в тех песнях? Он в них послал весь этот наш советский порядок на то самое. Но сделал это не как хулиган, а как поэт, у которого песни стали фольклором и потеряли автора. В позапрошлом веке было такое – «Среди долины ровныя...», «Не слышно шуму городского...», «Степь да степь кругом...». Тогда – «Степь да степь...», в наше время – «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Новое время – новые песни. Пошли приписывать Высоцкому или Галичу, а то кому-то еще, но ведь это до Высоцкого и Галича, в 50-е еще годы. Он в этом вдруг тогда зазвучавшем звуке неслыханно свободного творчества – дописьменного, как назвал его Битов, – был тогда первый (или один из самых первых). «Интеллигенция поет блатные песни». Блатные? Не без того – но моя любимая даже не знаменитый «Окурочек», а «Личное свидание», а это народная лирика. «Обоев синий цвет изрядно вылинял, в двери железной кругленький глазок, в углу портрет товарища Калинина, молчит, как в нашей хате образок...

Дежурные в глазок бросают шуточки, кричат ЗК тоскливо за окном: – Отдай, Степан, супругу на минуточку, на всех ее пожиже разведем...»

Лирозэпос народной жизни. «Садись, жена, в зелененький вагон...»

В те 60-е бывало так, что за одним столом исполняли свои песни Юз Алешковский (не под гитару, а под такт, отбиваемый по столу ладонями) и Николай Рубцов. И после «Товарища Сталина» и «Советской пасхальной» звучали рубцовские «Стукнул по карману – не звенит...», «Потонула во мгле отдаленная пристань...» (Я в ту ночь позабыл все хорошие вести, все призывы и звоны из кремлевских ворот, я в ту ночь полюбил все тюремные песни, все запретные мысли, весь гонимый народ... – впрочем, это дописьменное нельзя прописывать текстом вне музыкального звука). Аудиторию же составляли Владимир Соколов, Вадим Кожин, Лена Ермилова, Ирина Бочарова, Ирина Никифорова, Андрей Битов, Герман Плисецкий, Анатолий Передреев, Станислав Куняев, Владимир Королев, Георгий Гачев, Серго Ломинадзе... Попробуем представить уже лет 15 спустя эту компанию за одним столом...

Сергей Бочаров

Юзу Алешковскому
от автора.

Коньком наш тратим
за строку,
Но не радуем в этом!
В этом боль же!
Целый мир -
бутылка коньяку,
Только звезд нежности
добавить!
Потому за дружбу
наших душ
Я принеся сегодня
не горилку, -
Вот стихи. Когда уеду в Москву,
Не поспать над ними
попылюсь,
Промывая пыльного курилку?
30/XI-68г. Оффобуль
г. Москва

Юзу Алешковскому от автора

Коньяком нам платят за строку
Но не радость в этом!
В этом боль же!
Целый мир – бутылка коньяку,
Только звезд наклеено побольше!
Потому за дружбу наших душ
Я принес сегодня не горилку, —
Вот стихи. Когда уеду в глушь,
Не поспать над ними почему ж,
Поминая пьяного курилку?..

*Н. Рубцов 30/XI – 68 г.
г. Москва*

Блошиное танго

**Повесть из книги «Пулоприпуло»
(Пункт приёма пустой посуды)**

*Памяти благородной и добрейшей
машинистки Тани Павловой,
удавившейся недавно в Москве
от тоски одиночества
и окончательной безысходности*

От издателя

Человека этого я не раз встречал в различных пустопосудных и, естественно, винно-водочных очередах.

Не сказал бы, что личность его могла привлечь ваше внимание какими-либо необыкновенными чертами или странностями поведения. Тихий обыватель, каких много. Отнести его можно к породе людей смиренно спившихся, находящих горчайшее удовольствие в своем продолжающемся падении на дно жизни.

Только теперь, задним – как это всегда бывает – числом, вспоминаю я, что лицо Сергея Ивановича – лицо, повторяю, стоически смиренное – напоминало вдруг морду умной, чуткой, тонко сопоставляющей учуянное, но прижившейся к своей душеразрывающей жалкости собаки.

Есть среди представителей собачьей породы – как среди бездомных, никем не пригретых бродячих псов, так и среди вполне обеспеченных и обожаемых счастливцев – эдакие непризнанные гении. Дар псов бездомных забит самой жизнью: поисками объедков, спасительной – в жарыщу – тени, согревающего – в холодрыгу – прибежища. Им и в голову не придет попытаться как-либо внушить случайному человеку, что чутье их может творить чудеса прикладного для человеческой жизни характера, что нынче оказались они волею судьбы в крайне отчаянном положении, что готовы за миску зачуханной шелюмки и гарантированную защиту от живодеров продемонстрировать свое ошеломительное искусство **находить, различать и учуивать**. И происходит это потому, что равнодушие толпы людей и неотступное преследование вездесущими стихиями забивают собачье достоинство, то есть личный природный дар. Забивают унынием оставленности и тоской потерянности. Вполне возможно, что большинство людей равнодушны к судьбе бездомных псов по причине равнодушного отношения к самим себе, происходящего, в свою очередь, тоже от забитого в них чувства достоинства.

С некоторыми вполне обеспеченными собаками дело обстоит несколько иначе, потому что дар их начисто заглушается не отчаянной и жалкой борьбой за ежедневное существование, а как раз нахождением на полном довольствии в доме хозяев, равнодушных к судьбе собственного, забитого жизнью дара и относящихся к искренне любимым домашним животным как к самим себе. То есть полагая, что единственной целью жизни является пропитание, нахождение под своей крышей, благодарное приятие и ответное возвращение ласки ближним.

И если вид пса, явно одаренного от рождения, но нынче опустившегося, бездомного и голодного, пробуждает в сердце вашем возвышенную тоску и жалость, в уме – мысль о трагичности бытия, так или иначе распространенной на все живое, а может, даже на нечувствительную часть Творения, то вид псов, развращенных собственным и хозяйским сытым самодовольством, поневоле заставляет вас ощутить, – каким бы парадоксальным ни казалось это ощущение, – что трагическое – благородно, а отстраненность от него временами не только страшна, но и отвратительна.

Тут вполне можно было бы пофилософствовать о некоторых спецслужбах, на которых человек использует способных собак, разом извращая и их дар, и собственную свою природу, и облик нашей цивилизации. Но я, как издатель, всего лишь предвещающий печальную исповедь случайного своего знакомого, порядком отвлекся от него самого.

Так вот – задним числом вспоминая – лицо Сергея Ивановича неведомо почему принимало вдруг выражение учуявшей что-то преотвратное собаки. Он даже отступал из очереди в сторонку, словно пес, которому злые дети или садисты-взрослые ради злодейской шуточки подсунули под нос кость, вымазанную мазутом. Не знаю уж, фокусы ли это обдумывания явления задним числом, но казалось мне, что уши Сергея Ивановича – тогда я не знал еще ни имени его, ни отчества – настороженно от чего-то отмахиваются, на лбу собираются морщины,

а брови приходят в благородно-нервное движение от работы какой-то неведомой мысли – как это случается наблюдать на мордах неглупых собак, выведенных вдруг из блаженной и привычной дремы каким-либо обстоятельством внешней жизни или внутреннего раздумия.

Однажды мне даже показалось, что он, раздраженный живоглотностью приемщицы, садистично придиравшейся к каждому бутылочному горлышку в поисках «нестандартной шербатости», просто-таки зарычал и залаял, негодуя, срывающимся голосом.

Затем бросил место в очереди, вежливо попросив меня присмотреть за его двумя авоськами. Возвратился с маленьким чемоданом в руках и двумя шлангами, накинутыми на шею вроде шарфа. Втайне от приемщицы сказал всем присутствующим, что сейчас он ей – гниде – заделает «козу». Попросил собрать все не принятые из-за якобы шербатинки в горлах бутылки и вынести их на улицу. На улице, за ящиками, зажег газовую горелочку – баллон с газом находился в его чемодане – и с необычайной скоростью оплавил действительно шербатые – следствие нетерпеливо вскрытой бутылки с заветной влагой – горлышки. Он также привел в порядок бутылки, зловредно подозревавшиеся приемщицей в «нестандартной шербатости».

Таким образом мы сдали ей добрую сотню валявшихся в стороне бутылок и устроили в заброшенном яблонево́м саду коллективную пьянку.

Не могу не сказать тут о том, с какой мстительной радостью и восторгом всех душевных сил наблюдали стоящие в очереди за мастерским облапошиванием приемщицы. Можно было подумать, что наконец-то, после долгих лет безнадежного ожидания, строгая, но справедливая судьба милостиво удовлетворила всенародную страсть протеста не против мизерного своеволия какой-то жалкой замухрятины-приемщицы, а против самого несменяемого, зажавшегося, тупого и неприступного в своей тупости правительства. Что говорить, приятно безнаказанно врезать всеильной власти по беспредельно возгордившейся сопатке, даже если подобная врезка – что жужжание назойливого комара возле уха глухого инвалида!...

Вот во время той самой пьянки в яблонево́м саду Сергей Иванович некоторое время откровенно приглядывался ко мне, словно обнюхивал, затем отвел в сторонку и спросил, правда ли, что я – «писатель с профессиональным уклоном»? Я ответил, что пописываю временами, но чаще, каким-то образом, чем печатаюсь, сдаю посуду и сижу на больничном Литфонда. «Не уходите. Я сейчас вернусь», – сказал он. Через полчаса возвратился и вручил мне пару толстых общих тетрадей. «Доверяю вам безоглядно, но с уверенностью. Через месяц делайте с этой пробой пера все, что вздумаете. Если можете, передайте **туда. Там** много разной хреновины печатают...» «Извините, – говорю, – но вы-то... то есть – с вами-то что – и так далее?» «Ни то ни другое. **Закрывают.** Прочитаете вот это... поймете. Мы с женой ждем **закрытия** со дня на день... Поддадим, что ли, в гуще всенародной жизни и простимся до встречи, как говорится, в братской могиле... поддадим с ужасом и весельем!» «Не опрометчиво ли вы поступаете? – спросил я. – Найти вас после публикации рукописи **там** будет проще простого. Сами понимаете...» Он вежливо, но не без досады остановил мои здравые разглагольствования: «Неужели вы думаете, что листья грустно не опадали?... Опадали, смею вас заверить, а последних астр печаль хрустальная жива... Не удивляйтесь странному моему бесстрашию. Я слишком **им** нужен. Уничтожить меня после выхода моих откровенностей покажется делом весьма непрактичным. Кроме всего прочего, **такая** жизнь потеряла для меня с некоторых пор всякую ценность, но шанс на достойную смерть я еще, кажется, имею. Вот тогда **они** закроют меня по-настоящему... Жаль, конечно... очень жаль, что **закрывают...** До конца моих дней опаивал бы я на пользу людям шербатые горлышки их пустых сосудов... стоял бы себе, как все вы стоите, в безмолвной очереди к естественной кончине и даже перестал бы вскоре удивляться тому, как **они** превращают яростную прелесть жизни в унижайнейшее **блошиное танго...** поддадим, повторяю, с ужасом и весельем...»

Поддать как следует мы, правда, не успели, потому что в силу «новых веяний» и в соответствии с мерами правительства по борьбе с алкоголизмом развеяны были враждебными

вихрями милиции и дружинников. Сергей Иванович, можно сказать, на плечах вынес меня «из боя» – я мерзко окосел – вместе со своими общими тетрадами. У моего дома мы простились и больше никогда не встречались.

На следующее утро, даже не опохмелившись, я взялся за рукопись Сергея Ивановича. Она произвела на меня сильное и странное впечатление. Странное, потому что некоторые моменты искреннейшего повествования показались мне слишком уж неправдоподобными. Все восставало во мне против ряда вызывающих гротесков. Обидно было, что художественный дар Автора не побрезговал снизойти до того, что на языке обывателя и власти вполне может быть названо клеветой. Даже мне – спившемуся литератору, не питавшему никаких иллюзий насчет бескрайне подлой природы советской власти, – трудно было поверить, что в сверхсекретном НИИ ставятся бесчеловечные опыты на военнопленных афганцах. Захотелось – захотелось страстно – разыскать Автора и возопить о предоставлении доказательств фактов вивисекции.

Искусство, хотелось мне сказать ему по-корешам, искусством, но ведь и совесть надо знать, Сергей Иваныч, даже при обличении такого невиданного в истории вселенского, адского монстра, каким несомненно является наша **сонька**. Мало ли что имеется у нее в потенции чудовищного, чему не дай Бог стать когда-либо беззастенчиво явленным?... Стоит ли вызывать даже малую часть всего этого к жизни пусть ясновидящим воображением и внедрять, так сказать, идею, чье действие напоминает чем-то механизм действия лукавого вируса, в доверчивые «клетки» реальности? Ведь **сонька** порождена к жизни именно **идеями** и исключительно ими вскормлена. Сожрав **идеи** и переварив их, питается она в настоящее время многообразными экскрементами всего этого своего «идеального», внушив каким-то мистическим образом заграничным образованным и темным людям, что дерьмо ее – свежий, с грядочки, огурчик-помидорчик, а мутно-кровавая моча – чистейшая свежая вода... Мало ли чего, Сергей Иванович, можем мы подналожить в **сонькин** огород, потревожив сонм ветхих чучел, особенно от ужаса, ненависти и с похмелья?... Может, поостережемся подкармливать умонепостигаемого монстра всем сатирическим и жутковато-фантастическим, не только не удручающим его, но, наоборот, подвигающим к педантичному воспроизведению – на ужас всем нам – нами же накаренного? Не следует ли нам быть по отношению к **соньке** абсолютными реалистами, остерегающимися даже клеветы на нее как низшей формы воображения? Ведь ясно же с некоторых пор и сознанию, и душе, что ничего нет для **соньки** ужасней и уничтожительней, чем **реализм действительной жизни**, как говаривал Достоевский. И не в том ли сущность художественной задачи истинного реалиста, Сергей Иваныч, чтобы не в **жизни** внушать наличие ее на Земле, в небесах и на море – она в этом нисколько не нуждается, – но чтобы откровенно внушать всему омерзительному фантомному – даже не внушать, но предоставить убедиться, – что в бытийственном смысле **его нет? Нет – и точка!**

И не чудесно ли для нас – почти обезнадеженных существ – подобное отсечение всего мертвенного и дохлого, но вообразившего себя вечно живым, от гнущегося и шумящего под всеми звездными вихрями **древа жизни**?... «Выпить... выпить... Необходимо выпить...» – подумалось тогда мне...

Не знаю, прав ли я был в том похмельном мысленном разговоре с Сергеем Ивановичем. Не знаю также – существенен ли он перед искренней и совестливой рукописью, прочитанной мною, и все ли в ней соответствует судьбе Автора. Но поступил я с нею согласно его распоряжениям. Вслед за этим и сам оказался на Западе.

Об остальном – судить Читателю.

«Был день осенний, и листья грустно опадали...»

Был день осенний, и листья грустно опадали...

Начну очерк моей жизни под вышеуказанным названием прямо с немислимого и феноменального моего нюха.

С нюхом этим я родился и из-за него не раз бывал низринут ниже уровня уразумения. Нюх у меня действительно собачий. А в действенном сочетании с человеческим умом такой собачий нюх – чистая морока, проказа и источник лишних беспокойств. Иной раз приходилось забивать в обе ноздри парафиновые пробки, чтобы в гостях, скажем, или в театре, я уж не говорю о партсобраниях, избавить себя от острого реагента на всякопахнущую природу отдельных человек и общей толпы людей. Не могу тут не отвлечься и не сказать, чтобы больше уж к этому моменту не возвращаться, что каждый из нас ежеминутно представляет собой своеобразный букет вполне приемлемых и вполне органических запахов, а также абсолютно невыразимых никаким поэтическим словом ужасных, гнусных, подкожных – адских, одним словом, запашков. Если уж душу нашу воротит всякий раз от разного рода мелких людских злодейств, то представляете, **каково** унюхать запашок злодейства? **Каково** почуять смущенную ноздрею помышление злодейства? **Каково** воспитанно держаться в присутствии людей, изворотливо лгущих, внутренне проказничающих, глумящихся, завидующих, стервенеющих от бессильной страсти мщения, затаивших в душе злобу, подлянку, страсть к доносу, имеющих на совести черт знает что, причем в таком смердящем виде и в таком количестве, что если бы была у людей возможность прообонять, так сказать, все, к чему память наша привыкает прижизненно равнодушеествовать, то люди, поверьте мне, не вынесли бы собственных миазмов. Не вынесли бы не из-за непримиримой со всеми смертными грехами и с отталкивающими безобразиями совестливости, а как раз из-за счастливой невозможности слабого, вернее, ослабевшего человеческого обоняния мужественно перешагнуть порог чувствительности и при этом не дать потрясенному мозгу обезуметь от невыносимого омерзения.

Можете считать меня безумцем, замечательно и во всех деталях разработавшим свою параноическую идею. Не привыкать. Я утверждаю, суммируя свой опыт и наблюдения, что каждый грех – помышленный и совершенный – попахивает по-своему. У греха помышленного запашок, разумеется, менее остр и похабен, чем у совершенного, но, по понятным причинам, более стоек. Не могу также не сказать пару добрых слов о вечно обнадеживающем моментике существенного ослабления истинно неприличной вони совершенного греха в человеке раскисающемся. Публичное же покаяние – с русским нашенским надрыв-чиком и обильной слезоточивостью – зачастую, хотя, к сожалению, временно, замечательно дезодорирует просмердевшую личность...

А знаете ли вы, какой именно тип человека источает из всех пор своего существа самую дурнопереносимую и лукавую вонищу? Тип человека, уверенного в собственной непогрешимости, несмотря на вопящие об обратном изнутри и извне факты жизни...

Знаете ли вы также, как бессознательно порою, как страстно, как тоскливо, но с умопомрачительным долготерпением мечтают людские сообщества – от мелкосемейственных образований до авторитетных и внушительных наций – об очистительном историческом сквознячке или о решительном и грозном движении трепетных воскрылий ноздрей на величественной и озорной сопатке **ветра перемен?**

Мечты, к сожалению, чаще всего остаются мечтами, механически переходящими в ряд пенсионных грез. Толпы людей, то есть мы с вами, настолько привыкают к праздным грезам о **переменах** – хотя бы о минимальном улучшении правил приема пустой посуды от населе-

ния, – что перестают замечать смрадную вонищу, сгустившуюся донельзя в спертой атмосфере нашей нелепой жизни...

Одним словом, когда мне ужасно надоедает мельтешение в башке противоречивых мыслей и заведомо оскопленных идеечек, я начинаю мыслить носом. При этом, подобно псу с весьма средним интеллектуальным уровнем, логику всего происходящего вокруг и всего воспринимаемого мною я не обмозговываю с умным видом, ни черта, заметьте, не понимая, но **чую**. Разумеется, со стороны кажется, что я реагирую на что-либо и на кого-либо или как-либо поступаю, соответствуя многочисленным сигналам мозга.

Кстати, мозг мой сослуживцы и ближние, включая супругу, считали и считают недоделанным. Конечно, они употребляли, беседуя о странных качествах моего мозга, другое скверное словцо. Запахов их не выношу. Не удивляйтесь, пожалуйста, отсутствию этих слов в моей речи. Достаточно того, что от смердины сквернословия некуда лично мне деться ни дома, ни на службе, ни в транспорте. Не могу не заметить, что вкупе с самым популярным в нашем народе глаголом источают словечки эти омертвляющее мою душу зловоние. Сравнить его не с чем, хотя сравнения, как вы понимаете, напрашиваются сами собой. Оставим эту тему...

Так вот, я работаю, вернее работал, в одном сверхсекретном НИИ, не имея, кстати, законченного высшего образования. Для меня было бы счастьем слушать лекции в общественной уборной, что напротив ГУМа, но не в советском вузе. Не вынес пару раз миазмов блевотины, подкисшей в бородах Маркса – Энгельса. Задыхался до многократных вызовов «скорой» прямо в институт от бездушного ленинского железа, растворенного в сталинском гное. На общих собраниях и на митингах, посвященных каким-нибудь очередным «руки-прочь-от-Анджелы-Девис-Анго-лы-Лумумбы-Кубы», начинал форменно безумствовать, словно наглотавшись грязного наркотика из лжи, демагогии, цинизма и лицедейства, настоящего на наших тупости, безразличии, рабстве и загнившем достоинстве. Забывшись, посматривал на стенд газеты «Правда», стоящий у дверей парткома института, – и меня начинало выворачивать. Скажу больше – при всей невыносимости для меня лично ужасного зловония сквернословия в нем все-таки имеется нечто органическое, пусть уродующее человеческие уста, но не покушающееся на природу живого, то есть как бы даже осознающее свою плебейскую ограниченность и вечно из-за этого подзаводящее себя на площадную разнузданность. Мат, скажу я вам, изначально невиннее большевистской нашей печати, пластмассового ее грязноватого душка и пустодушной выбитости захарканной половицы-передовицы.

Вспоминаю все это к тому, что в пятьдесят шестом году был увезен прямо в дурдом с митинга, посвященного ликвидации Венгерского восстания. Спас меня от удушья, между прочим, сам докладчик, лектор горкома партии. Заметив, что я начал корчиться на своем месте, хрипеть и окончательно закатывать обезумевшие глаза, он с ходу прервал жуткую тираду о просчитавшихся венгерских контрреволюционерах... ставка на империалистические круги Запада... историю не повернуть вспять...

Прервав свою жуткую тираду, он бросился ко мне с трибуны, разложил на полу, в проходе между стульями, и без естественной брезгливости ртом своим, изрыгавшим всего полминуты назад нечто тупо-вонючее, приник спасительно к моему изнемогающему от омерзения дышать и жить рту. Вместе с дыханием из меня вырвались, словно сгустки блевотины, эти самые слова, вернее комки слов – «конррр... имперрр... венгеррр... анτισс... террр... ник... гда... истор...».

Тот лектор был, конечно, не дурак. Он и вызвал не «скорую», а чумовоз. Меня препроводили в дурдом. Там я не распространялся о тонких странностях моего обоняния, хотя много чего мог бы порассказать психиатрам и санитарам о запашке ихнего заведения. Если выражаться точнее, то мог бы я порассказать о запашке отсутствия запашка. О сковывающем все твое существо озябчике стерильного бездушия. О чем-то совершенно противоположном самой зачуханной, провинциальной, непротопленной баньке, с въевшейся в щели склизкого

пола волосней и ошметками грязной плоти. Все отдашь за неизгоняемую уже из пределов парной, за вдаряющую в ноздрю аммиаком, прокисшим березовым листиком и чем-то невыносимым, чем-то глубоко родственным, беспомощным и жалким, но размывающим наготу нашу до легчайшей безликости, – все, повторяю, отдашь за лобызющуюся с тобой на пороге парной, словно несносный, гунявый пьянчужка, за волну истомленного жарка, за полное открытие вечно смущенных обществом, а оттого и враждебно замкнутых пор бедной нашей кожи. Это дарует сиротливому существу советского человека праздничное чувство истечения общего пота и временное избавление от социальной жизни.

...Но чумовоз... палата психушки... прогулочный психодром... Это обезнадеживает абсолютно. Этого не сравнить даже с пожизненным заключением во владимирской одиночке. Это – безжизненный предбанник ада... Там-то я и сообразил, что запашок, если позволительно называть запашком качество полной обездушенности – отсутствие запашка, есть предбанничек поганого ада...

Вел я там себя печально и тихо. Дышал исключительно ртом, чтобы не раздражать чутких рецепторов слизистой оболочки своей феноменальной сопатки запашком со знаком «минус». Редактировал стенную газету дурдома, названную мною, с согласия главврача и секретаря парткома, «НЕ ДАЙ МНЕ СОЙТИ С УМА». Слово «**Бог**» администрация распорядилась выкинуть из замечательного пушкинского вопля. Правда, слово «**Бог**» возникало таинственным образом вновь и вновь. Сестры стирали его резинкой, замазывали мелом, который загоняют в желудок перед рентгеноскопией, но оно наутро вновь появлялось в близком моей душе вопле. Наконец после одной тщательной ночной слежки оказалось, что «**Бог**» – вы себе не представляете, какой это было для меня неожиданностью, – вписывал я. И делал это в истинно лунатическом состоянии, хотя действительно не намеревался, укладываясь в койку, встать посреди ночи и придать пушкинской строке вид целостный и гармоничный. Утром в столовой именно я искренне призывал всех больных и тех, кому садистически внушалось, что они больны, не раскачивать лодку и не давать коновалам повода прикрыть наш печатный форум. Даже тогда, когда в присутствии всего врачебного коллектива и в полной темноте мне показали захватывающе интересные кинокадры, снятые скрытой камерой, я отказывался верить, что странный тип – серолицый призрак в нелепых кальсонах, крадущийся мимо дрыхнувших пьяных санитаров по коридору, вынимающий затем из хитроумной заначки похищенный у лечащего врача чернильный карандаш, встающий на цыпочки, подрисовывающий, высунув язык, над заглавием газеты слово «**Бог**» и сигающий после всего этого в палату с осмысленно злорадной улыбкой на удовлетворенной физиономии, – есть мое второе «Я». Тем более после того, как меня начали привязывать на ночь к койке ремнями, «**Бог**» продолжал таинственно появляться в середине полюбившейся всем дурдомовцам строки Пушкина. После этого газету запретили выпускать, но регулярно вывешивали на стене «Правду», пока кто-то не перечеркнул кровью, неизвестно откуда добытой, первую полосу и не замалевал ее из сердца идущей фразой: **вы обросли ложью...**

При выписке из дурдома я получил первую группу и был объявлен невменяемым, что расценил как чудесное преимущество над всеми гражданами, живущими на каждом шагу под прессом «Морального кодекса строителя коммунизма» и УПК РСФСР.

С институтом было, конечно, покончено раз и навсегда. Я получал ничтожную пенсию и не переставая утешал сам себя и убитую горем мать тем, что являюсь счастливым и относительно свободным человеком в зоне нашей страны, да к тому же не выходящим на общие работы.

Дома я занимался тончайшими биологическими экспериментами. Сам выдул всю стеклянную аппаратуру. Выпросил у приятелей, уже работавших в НИИ, разные реактивы, датчики, счетчики, самописцы и прочие приборы. Они же подарили мне отличные газовые горелки и всевозможный инструмент. Кроме опытов с растениями и бытовыми паразитами –

тараканами, клопами и блохами, – я занимался чистой халтурой. Я выплавлял из цветного стекла и выдувал сикающих водичкой, а то и одеколоном чертиков, буратино, обезьянок и поросят. Сбывал эту продукцию в вагонах электричек. Меня арестовывали и отпускали как стебанутого. Но самым большим успехом у граждан в электричках пользовались, как это ни странно, замурованные мною в искусно расплавленном стекле – то же самое природа отчебучивает с кусочками янтаря – тараканы, клопы и блохи. Непонятно, чем именно были столь притягательны для людей взрослых эти дотошные и неприятные паразиты, обретшие благодаря мне телесное бессмертие в обыкновенном бутылочном стекле. Может быть, оттого, что окружены они были светлыми бисеринками воздушных пузырьков, остающихся после ювелирной оплавки в стеклышках и как бы создающих иллюзию вечного дыхания мемориальных паразитов – иллюзию, имеющую какое-то отношение к терзающим любой человеческий ум размышлениям о посмертном существовании и, разумеется, к страстным попыткам узреть хоть приблизительно, но существенно обнадеживающий образ такового еще при жизни? Не знаю. Товар мой пользовался огромным успехом у пассажиров подмосковных электричек. Лицо человека, купившего, скажем, замурованного в голубоватый осколок четвертинки клопа и близко поднесшего его к глазам, – лицо это, минуту назад бывшее усталым, отупевшим, брюзгливо недовольным окружающей действительностью и готовым хищно приняться к вагонной сваре, вдруг комично одухотворялось страстным интересом, явно выходящим за рамки, так сказать, пошлой покупки. Интерес этот слегка подсвечивался смутной улыбкой, говорившей о самозабвенном удивлении ума перед тем, что обычно исчезает с глаз долой после поимки и уничтожения, а тут вот, наоборот, – в нераздражительной форме завлекательно свидетельствует о чем-то более возвышенном, чем коварный, полночный укус в чуткое предплечье, привораживает чем-то ужасным и одновременно убажвающим, словно в детстве бабушкина сказка...

Я даже подумывал временами, что Мавзолей в Москве создан обезумевшим в те времена от ужасов общественной катастрофы государственным разумом с одной, совершенно инстинктивной целью: создать временный центр всенародного отправления жажды хоть какого-нибудь образа бессмертия личности.

Если бы – позвольте заявить вам это со всей откровенностью – кусачего этого таракана не объявили вечно живым и не вправили бы его желтоватый трупик в хрустальный гроб да не выставили бы под охраной на зрительную потребу миллионов новейших трупои�олопоклонников, то неизвестно, что с этими любопытными миллионами стало бы.

Ведь после катастрофы Октября, Гражданской войны и разрухи неминуемо грянула бы катастрофа духовная. Собственно, она и так грянула, но духовная жизнь огромной нации, точнее говоря, многих наций, составляющих, иногда не по своей воле, необозримую нашу Империю, далеко, знаете ли, не фабрика, не помещицья усадьба, не банковское учреждение и не свободный рынок, – духовная жизнь нации продолжает трепыхаться, и трепыхание сие необходимо поддерживать различными суррогатами Веры, Надежды и Любви. Мы ведь церкви разрушили, священнослужителей пересажали, за Богопочитание клеймили, карали, били по рукам и ногам, – как же в мрачную и безумную российскую пустыню было не подкинуть чего-нибудь такого бессмертного как бы и потустороннего, но пребывающего на глазах обывателя в хоть сколько-нибудь доказательном и близком к натуральному виде? Вот и подкинули в самое сердце Империи хрустальный гроб с ужасно похожим на моих мемориальных клопов, тараканов и паучков незахороненным существом. Наделали с идола этого миллионы бумажных копий, а также гипсовых, гранитных, мраморных и бронзовых истуканов.

И вот точно так же, как в голодные времена способен человек поддержать свою телесную жизнь пожиранием кожаных изделий, так и во времена духовной подыхаловки и доходиловки не брезгует, бывает, человеческая душа наброситься с отчаяния и по внушению надзирателей – убийц нормальной народной жизни – на некий трупный, простите за выражение, консерв...

После вышибона из института я, если помните, подхалтуривал в электричках. Бездельшки. Писающие чертики. Пульверизаторы пикантной, но законопослушной формы. Бесмертные насекомые в стеклянных мавзолейчиках... И вот – отводит меня однажды в тамбур пожилой человек с профессорской внешностью. Он что-то говорит, а я не слышу, потому что оба моих уха заложены наглухо особой, сочиненной лично мной замазкой. Замазка предохраняла меня почти на сто процентов от матерщины. Ноздри мои тоже заложены были мягкой ваткой. Атмосфера электричек, вокзалов и прочих мест нахождения смятенных человеческих тел доводила меня обычно до внезапных рыданий и сердечной боли не физиологического происхождения... Он что-то говорит, а я не слышу. Выходим на остановке. Вынимаю из ушей замазку. Из ноздрей – ватку. Оживаю от дыхания пристанционных тополей, больничной горечи шпал, тоски древесного перрона и эвклидова одиночества холодных рельсов. Как сейчас все это помню...

Шеф Наук – так этот человек мне представился – взволнованно набросился на меня со справедливыми упреками. Вы, говорит, закапываете талант в вагонной скверне. Вы – без минуты Челлини... Вы делаете со стеклом примерно то же, что сильная власть с человеком. Вы облагораживаете его, словно неотразимая женщина в нужном ей направлении... На коленях молю вас пожаловать в мою лабораторию... Обещаю выколачивать для вас не менее четырехсот ежемесячно... Гарантирую еще не меньше пятисот за выполнение частных заказов. Тысчонку в наши времена мало кто зарабатывает без риска кинуть свободу псу под хвост...

Чего мне было думать? Согласился. Все же в шатании по всяким людным местам да по электричкам было нечто подночное. От жалкости такого занятия, особенно когда прихватывали менты, становился я постепенно юрдовым. Наигрывал, конечно, психа и болтуна, но для мозга, позвольте вас в этом уверить, клоунада сия унижительная не проходит так просто. Мозг привыкает к вынужденному паясничанью и изгибанию перед самим собой. Я уже начал шута разыгрывать с родной матушкой, а она только плачет и жалеет свихнувшегося отпрыска...

Подробно говорить о деятельности своей в НИИ не буду. Скажу только, что делал там для них чудеса по стеклодувной части и внесению изящного остроумия в самый сложный эксперимент. Академики и доктора, бывало, руками разводили... Орден получил по секретному Указу Президиума, а потом медаль.

Выделили мне садовый участок в охраняемой вблизи НИИ местности. Поставил я там дачку. После работы лежу себе и понюхиваю натуральный воздух и благородные запахи природы. Музыку старых композиторов слушаю и любимое танго... был день осенний, и листья грустно опадали... в последних астрах печаль хрустальная жива... От женского пола отбоя не имею, поскольку не пью, интеллигентен в обращении и отпускаю порой загадочные шутки. Привычка юродствовать так просто, повторяю, не проходит. Но благодаря всему этому складывалось у институтских дам благоприятное мнение о моем характере и рисунке личности. Слухи о больших халтурных денежках, разумеется, прибавляли мне существенного веса. Ноздри же мои, неустанно трепетавшие от чуткой работы на сверхобоняние, внушали женскому полу, что я есть истинный половой гигант, погибающий втуне от скромности и порядочности.

Матушка моя, совсем ошастливленная серьезным перерождением вагонного паяца и шалопая в ловкого подсобника отечественной науки, начала в те времена капать на мозги, чтобы успел я жениться до ее спокойной кончины и дал, как она выражалась, увидеть свежий вариант нашего рода.

Я же принимался к нашим алкавшим брака девушкам и женщинам. Не в собачьем смысле принимался, а в сверхчеловеческом. То есть старался учуять верную, красивую и соболезнающую душу посреди симпатичных телес, общей напомаженности и различного тряпья, призванного отвлекать нашу испытующую энергию от дамской сущности.

Ну – и не позволяет мне проклятый мой нюх сблизиться ни с одной из желающих сойтись, даже без мысли о браке. Предостерегает меня нюх от близости... От этой так и разит легко-

мыслим. От той – мелочностью упреков. От третьей – змеиной ревностью и тягой к выпивке. Несколько дам – отвратительные хозяйки, о чем сами совсем еще не подозревают, выпячивая на первый план романтику турпоходов, доставание билетов на всякие зарубежные кинофестивали и тягу к независимой половой жизни. Несколько стукачек учуял в благородных внешне существах. В одной тихоне, на которую чуть-чуть не клюнул, внезапно распознал мрачную извращенку. Впоследствии ее застукали в секретном нашем собачьем питомнике, где она садистически издевалась над подопытным догом по кличке Нерон. Это прибавило мне осторожности. Я, конечно, послал бы все эти смотрины и выборы к чертовой бабушке, простите за сильное выражение, но я же живой человек. Меня, хоть и запоздало, но начало беспокоить отсутствие противоположного пола по вечерам, а особенно утречком в субботу и воскресенье, когда не надо спешить на работу, но так и тянет вырваться за пределы собственного естества в пылу брачной любви и прочего самозабвения...

Надо сказать, что тоска моя по достойной подруге осложнилась к тому времени рядом счастливых прозрений. Как ни связаны были сотрудники разных лабораторий клятвенными расписками о неразглашении сути ихних исследований даже близким друзьям и смежникам, до меня постепенно дошло, что НИИ-то наш готовит, ко всему прочему, бактериологическую войну. Готовит именно бактериологическое наступление на так называемый свободный мир, а также Китай, но не оборону. Оборонщики, как я понял, занимаются изготовлением всяких хитроумных вакцин, противоядий и систем дезинфекции. Наши же мудрые ученые и изысканная подсобка вроде меня заняты по приказу партии и генералитета выведением неслыханной чумы и заразы, если говорить просто, а не вдаваться в преступную терминологию.

Откровенно делюсь однажды с тем самым большим ученым, который сосватал меня по стеклодувной части. Высказываю моральное беспокойство. Он меня заверяет, что все эти безумные бактериологические дела – всего лишь дань международной военной моде. Западная военщина этим занимается, и мы не должны никак отставать от нее в наращивании секретных научных достижений. Потому что уровень военных бактериологических исследований – свидетельство, кроме всего прочего, общего уровня развития биологии и вирусологии. Мы успешно отставали от Запада из-за травли, которой подвергались лучшие наши умы во время сталинской тирании и лысенковского деспотизма в науке. Теперь не менее успешно догоняем и во много сократили разрыв. Кое в чем даже превзошли своих зарубежных коллег... Не надо беспокоиться. Ужасающие бактерии не пойдут никогда в ход точно так же, как ядерное оружие, а взаимное устрашение Запада и Востока успешно стабилизирует положение в мире. Если же запретят вдруг исследовательские работы и производство БО, то мы с вами, батенька, лишимся теплых мест и брошены будем на пшеничку с кукурузой, как при Хрущеве... Дуйте себе, дорогой, в трубочки, выдувайте свои чудеса и колдуйте над газовой горелочкой...

Тоска, однако, продолжала подтачивать мою встрепенувшуюся совесть потому еще, что при разрядке мировой напряженки увеличил наш НИИ выпуск всеуничтожающей продукции в четыре раза. Что же это, думал я, за разрядка? Это какая-то сокрушительная зарядка. И все это делается вдали от глаз народа. Как можно не допускать контроля с его стороны?... Вот «Правда» пишет, что простой американец, студенты и передовая профессура действительно протестуют против планов военщины, связанных с бактериологической войной. На меня-то разит от нашей газеты застарелой, прогнившей, но приевшейся к народному обонянию лживой трепней. И все же думаю я: почему бы и нам не попротестовать и не поумерить слегка аппетиты наших заказчиков? Мы же видим из окон, как вылазят они из черных своих бесшумных машин и со злодейской важностью расхаживают по лабораториям... Знаем, как рукоплещут они после контрольных опытов по заражению домашних животных и обезьян нововыведенными бактериями... Знаем, что двое аспиранток и трое докторов наук устроили в лаборатории пьянку в честь принятия брежневской конституции, перешедшую в разнузданную оргию. Во время этой тайной оргии одна из аспиранток – я ее, к счастью, успел отшить от себя – неосторожно расположи-

лась в непосредственной близости от смертельно опасного штамма бактерий новейшей чумы «МИР – 2Х», дрыгнула в какой-то момент разнузданной ножкой, и все эти любители веселой жизни и конституции мгновенно схватили заразу. Хорошо еще, что у них хватило личного мужества и общественного страха немедленно доложить о ЧП дежурному начальнику и самоизолироваться до перевода в антииммунной камере в закрытую тюремную клинику. Дальнейшая их судьба нам неизвестна, но ходили слухи, что, для того чтобы выпущенные бактерии чумы не пропадали даром в период острой борьбы нашей партии за экономию производства, зараженным научным сотрудникам предоставили возможность наблюдать в соответствующем месте за течением своей болезни, вести записи, исправлять некоторые ошибки в опытах и написать письмо Центральному Комитету с благодарностью за предоставление возможности совершить высокий подвиг во имя и во славу нашей отечественной бактериологии...

Но, скажу я вам, вопли человеческой совести притупляются и постепенно замолкают точно так же, как может притупиться нюх человека. Поработайте вы, скажем, с месячок в морге, где анатомируют погибших от различных болезней обезьян, и ничто уже не потревожит слизистой оболочки вашего чувствительного носа. Ничто! Ни предсмертные мучения живых невинных организмов, ни взгляды их, полные бессловесной муки и безумного непонимания своей доли, ни бесовский запах адского греха безжалостной **науки** и ее горделивых, холодных, мрачно-образованных, безнадежно выродившихся жрецов-автоматов...

Вот в этот момент своей жизни, терзаемый сомнениями и ужасом перед попаданием в дурдом – больше ничего не ждало меня в случае одинокого протеста, – я и встретил полюбившееся мне существо. Полное ее имя было Константина. Дано оно было ей родителями – мелкими провинциальными актерами – в честь Станиславского. Увидел я ее однажды рыдающей в рукав белого халатика возле клетки со всеми нами обожаемой шимпанзе Мариэттой – названа так в честь писательницы Шагинян, с согласия МО ССП СССР.

Рыдания и слезы Коти были, на мой нюх, стерильно чисты и искренни. Я почувствовал возможность редкой в наши времена общности взглядов на бесчеловечную и бездарную сущность закрытой бактериологии, работающей на трупных теоретиков «последнего решительного боя» в Генштабе. Не мог не разрыдаться, встав рядом и отечески прижав Котю к своей груди. Котю трясло как в лихорадке, если воспользоваться одним из любимых выражений великого певца униженных и оскорбленных. Никакой половой акт не в силах сблизить мужчину и женщину так, как сближает согласно вырвавшееся из их душ рыдание.

Тут же у клетки с ничего еще не подозревавшей Мариэттой мы обменялись с Котей чистосердечными мнениями о позорной вивисекции и начали строить фантастические планы спасения славной шимпанзе от смерти в жутких мучениях – мучениях, всячески продлеваемых научным любопытством жадной своры исследователей. Спасти ее, к сожалению, было невозможно еще и потому, что ключи от клеток с животными хранились в спецотделе. Да и куда дели бы мы несчастное животное в атмосфере всеобщей подозрительности и доносительства? В зоопарк не сдать. За границу не переправить. Даже подпольные миллионеры из Грузии не рискнут тайно приобрести умное заморское животное, любящее носить кепку кандидата наук Бодридзе, и пустить его для пущей экзотики разгуливать по придворцовому саду...

Одним словом, мы сблизились тогда с Котей настолько, что в эту же ночь стали мужем и женой в домишке на моем садовом участке. Мы сразу же взяли совместный очередной отпуск, чтобы не присутствовать в институте во время интенсивных опытов над зараженной Мариэттой. Затем началась нормальная супружеская жизнь.

Вскоре умерла моя мать... Группа, в которой трудилась ассистенткой одного крупного ученого моя Котя, получила закрытую Государственную премию за выведение особой жароустойчивой породы универсальной вши, не оставляющей следов укуса и не вызывающей чесательной реакции, что существенно затрудняет для врага и поддерживающего его гражданского

населения поиск источника смертельной заразы. Вот на эту премию мы купили кооперативную квартиру в центре Москвы. Не в центре Котя жить не могла. Эта пижонская, на мой взгляд, но вполне безобидная, как мне тогда казалось, страстишка была, пожалуй, единственным недостатком моей милой, женственной и сентиментальной жены. Котя очень любила гулять по центральным улицам города, а перед сном непременно отправлялась на Красную площадь. К этому ее с детства приучили родители, жившие до переселения в Чертаново на Никольской улице. Я был не в силах бороться с этой невинной, как мне опять же тогда казалось, ритуальной слабостью. Я и сам ничего не имею против величественного пространства сей отечественной святыни. Против ее много чего повидавшей на своем веку брусчатки, расходящейся кругами, словно темная каменная вода, и обтекающей безмолвно мрачное Лобное место, чтобы затем незримо разбиться о чудесную твердыню Ивана Великого. Ничего не имею против стен Кремлевских и башен с ненавистными лично мне электрокровавыми звездами. С ними можно в конце концов как-то примириться и вовсе вытеснить из поля своего зрения лишнее это напоминание о напрасно пролитой крови миллионов моих сограждан. Не имею я ничего против ГУМа – всесоюзного торгового муравейника и, если уж на то пошло, против мертвоватых кремлевских елей.

Единственное, что отравляло мои вынужденные прогулки с Котей перед сном, – запах захороненного ленинского трупа и коварное зловоние, вырывавшееся из-под измывательского надгробия Сталина. Смердыня, доносившаяся при нежелательных ветрах до моего носа от многочисленных урн с прахом палачей и партийных идиотов – от урн, замурованных во вместительную, к сожалению, историческую стену, – тоже отравляла прогулочное мое настроение. Кроме того, из Мавзолея обычно потягивало дерьмом и потом обывателя, наезжающего со всех концов нашей Империи для навязанного ему властями похабного идолопоклонства.

Впрочем, сознавая некоторую свою ненормальность и мучительную гипертрофию проклятого органа обоняния, я не вертухался и, пока Котя со странным выражением лица наблюдала за сменой караула, старался отвлечься от мучительных запахов, запахков и мелких раздражительных истечений различной внутрикремлевской вони размышлениями о странностях устройства нашей жизни.

Вскоре началась афганская авантюра нашего правительства и руководящего им генералитета. Котю внезапно перебрали на секретнейшие работы, связанные с выведением особо уникальной блохи, в которой, по заданию начальства и генералишек, должны сочетаться все замечательные качества нововыведенной секретной вши с «высокомобильной оперативностью, повышеннокусаемостью и досадной сверхускользаемостью блошиной породы». Разумеется, новая блоха непременно должна была вводить своей фантастической жароустойчивостью в заблуждение работников повстанческих походных дизобань, которые, по слухам, американская военщина начала уже поставлять врагам афганской революции вместо ракет «земля – воздух», против поставки которых решительно возражает какой-то спикер Тип О'Нил в конгрессе США. Так вот, пока его не уговорил сам Рейган, необходимо форсировать работы по выведению блохи «Надежда Афганщины – Х6/Ф7». После выведения этой блохи и опытного обоснования уверенности в ее быстрой размножаемости должны были начаться опыты, ради которых, собственно, и выводилось новое бесчеловечное насекомое. Его намерены были экстренно приспособить к переносу не одной какой-либо болезни в ряды сражающихся басмачей и их пособников в мирных селениях, а сразу нескольких. Это необходимо было для затруднения поисков представителями международного Красного Креста и других псевдосердобольных организаций – этих пособников американского империализма – источников инфекции. Выведению новой блохи, кстати, сопротивлялись ради узких лично-корыстных целей догматики – моноинфекционисты. Одним словом, в НИИ у нас начались перетряски. Котя неожиданно была назначена руководительницей одной из ударных групп. Я пробовал было заговорить с ней о нравственном, но действенном сопротивлении и долге хоть как-то затормозить людоедские

исследования. Котя ответила, что, зрело поразмыслив и окинув взглядом историю науки, она раз и навсегда поняла, что есть в этой героической истории нечто трагическое и превышающее наше обывательское разумение. Все жертвы, в том числе и бедная Мариэтта, не пропадут даром. Жертвы эти мужественно положены нами в основание растущей ввысь крепости человеческого здоровья, без которого коммунизм просто немыслим, как немыслим успех афганской революции без уничтожения ее врагов – бешеных и подопытных собак американской реакции...

Вот как, господа-товарищи, заговорила Котя, стоило ей только подобраться поближе к кормушке и к возможности быстрой научной карьеры.

Мне не привыкать было, разумеется, к хитроумным душевным и умственным маневрам конформистов, старающихся успокоить навек свою некогда чуткую, воспитанную книгами Солженицына и других истинных правдолюбцев совесть. Мне к этому было не привыкать. Да и у меня самого, нелишне будет заметить, неприлично заложило нос на происходящие вокруг мерзости. Заложило его постепенно от всеуспокоительной тишины мирного моего семейного счастья, которое хотелось мне тщательно оберегать от зловония мировой и отечественной истории. Заложило его также от чувства полной безысходности и бесполезности протеста.

Людей на каждом шагу сажали либо в дурдомы, либо в лагеря за дела и протесты несравненно более невинные, чем какое-либо мое обращение к мировой общественности и приоткрывание ей глаз на преступные исследования в лабораториях нашего НИИ. Котя, моя Котя, с которой я забывал о своем собственном существовании и об уродствах бедственного международного положения, сутками, бывало, не выходила из лаборатории, выводя полки полиплоидных блох, стойких к полевым дизобаням, превосходящих по прыгучести и кровожадности своих исторически устаревших родственничков и успевающих скрыться с места укуса задолго до возникновения в нем характерного зуда. Группа Коти поставила также перед собой научную сверхзадачу: привить новому блошиному потомству так называемый «конвергационный ген». То есть «Надежда Афганщины – Х6/Ф7» обязана была иметь врожденную склонность к проживанию и активным действиям не только в непосредственной близости к телам врагов и вражеских пособников, но чувствовать себя как дома в овечьей шкуре, вздорной конской гриве, беспокойной собачьей шерсти и в тихой кошме кишлачных строений. И вообще, весь научный поиск официально был посвящен, как это водится в советских НИИ, очередному будущему съезду нашей партии.

Я, как говорится, рукой махнул на происходящее. Я же не в силах был прекратить бесчинства распоясавшейся секретной бактериологии, как не мог внести благородный порядок в общую историческую катавасию. Слеза, бывало, стекает из глаза моего по свежевозникшей морщине к поникшему воскрылию ноздри, застывает на ней, и вдыхаю я до грустного охлаждения сердца сирую отраву брачной своей пустыни, потому что Котя дня четыре в неделю безвыходно просиживала в лаборатории, а обстановка секретности вокруг важного проекта все ужесточалась. Я уж и в столовой перестал встречать свою супругу. Тоска разлуки до того дошла у меня, что я стал поджидать Котю у женской уборной. Охота было перекинуться хоть парой нелепых, но полных глубокого чувства слов. Однако весь женский состав ударной группы стали выводить на оправку в сопровождении трех каких-то форменных гермафродитов с угловато-чугунными ряшками и округлыми плечами. Они же мрачно и решительно сопровождали в мужской сортир состав исследовательского проекта. На нас нанятые где-то гермафродиты смотрели исподлобья, а неестественно длинные свои ручищи держали в карманах оранжевых халатов, как бы давая понять, что любой пытающийся вступить в контакт с учеными и лаборантами немедленно получит пулю в любопытный череп... Все это санкционировано свыше – намекал этот омерзительный взгляд исподлобья...

Наконец наступил решающий момент мерзкого научного эксперимента. Это все мы поняли потому, что однажды увидели, как во двор НИИ заехали две спецмашины с надписями на кабинах «МИРУ – МИР! ПЛАНЕТЕ – СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ!». Сопровождали их военные мотоциклисты, которые неосторожным ревом своих зверских машин всполошили чуть ли не всех сотрудников. Из-за какой-то несогласованности в действиях конвоя и наших гэбэшников мы увидели, как из машин выводят странно одетых молодых и старых мужчин. Черные их бороды не могли скрыть землистых и бледных, искаженных постоянной мукой лиц.

Это, несомненно, были пленные афганцы. В сопатку мою шибанул вдруг такой нестерпимо острый и вместе с тем тупо оглушающий запах стыда, боли и причастности к предельно изощренному насилию, что ноги у меня подкосились. Я упал в более-менее спасительный обморок на глазах своего Шефа. Очухавшись, увидел рядом с собой Котю. «Все хорошо, Серый, – сказала она, – все хорошо... Домой едем вместе. Ты, наверное, сидел там без меня на воде и хлебе?... Все хорошо... Глотни спиртику. А я получу наградной паек... икорка, балык, клубника, заливной язычок... какие-то африканские фрукты... наконец-то их научились безболезненно транспортировать... докумекали... и домой... все хорошо...»

Она поспешила в спецбуфет, где отоваривалась наша номенклатура и все премированные за разные достижения по выведению эффективных бацилл, неотвратимых вирусов, подрывных насекомых и мелких грызунов – переносчиков наступательной заразы в городской и деревенской местностях. А Шеф говорит мне сочувственно: «Надо вам, Сергей, сбалансировать как-то эмоциональную жизнь с помощью новейших транквилизаторов. Я это готов устроить. Ляжете и в спокойной академической обстановке подштопаете надпочечники, призовете к порядку гипофиз с гипоталамусом, одним словом уравновесите свою эмоционально-душевную жизнь в сторону некоторого равнодушия к неразрешимым, в сущности, нравственным проблемам и успокоения слишком уж дезориентированной своей совести. Надо ведь жить, надо исследовать, надо поверить – просто взять и поверить, – что раньше жертвы приносились на алтарь вымышленного божества, то есть, по сути дела, псу под хвост, а теперь мы вынуждены в целях прогресса приносить тщательно обдуманные и абсолютно целенаправленные, полезные жертвы **науке**, в трагически-благородных поисках которой – разрешительный смысл **истории** и нравственное оправдание жрецов научного поиска. Между прочим, ваша жена в течение двух лабораторных суток добровольно и без ведома партбюро со спецотделом подвергала себя суровейшему испытанию: она с ошеломительным терпением вынесла несколько сотен контрольных укусов нового, весьма многообещающего поколения блох. Разумеется, еще ничем не зараженных. Но ведь, согласитесь, среда функционирования полезного нашей глобальной политике насекомого должна и в экспериментальных условиях максимально приближаться к естественной. Несколько ученых-подвижников, чью самоотверженность военная бактериология никогда не забудет, не могут, к сожалению, заменить одного натурального объекта боевых укусов с таким трудом выведенной блохи. Блохи, поверьте мне, отличаются, скажем, от вши или клеща поразительной разборчивостью и приводящей науку в недоумение избирательностью... Так что давайте уж я устрою вас повалиться, с вашего, разумеется, согласия, в закрытую клинику. Я там у них – консультант и руководитель нескольких очень интересных диссертаций. Одновременно и горелочкой поорудуете. Они давненько вас у меня выпрашивают. Вот и попотрошите заодно этих трижды и четырежды лауреатов Государственных премий. Идет?...»

Что мне было делать? Я согласился. Тем более, когда мы с Котей направлялись домой, она говорила, что близится новая серия закрытых опытов и ее все равно не будет дома.

Кроме того, она высказала желание купить «жигуленка», на который одной надвигающейся премии не хватит. Мне необходимо подхалтурить на выдувке приборов. И пора уже в конце-то концов поднять цены на выдуваемые налево изделия. Дорожает водка, икра, ковры, драгоценности, фрукты на рынке и косметика в «Березке». Над моими чудаческими тарифами,

сказала Котя, уже начинают посмеиваться люди с чувством реальной жизни... Хватит приниматься к тому, что ничем в принципе не пахнет...

В тот вечер и в ту ночь, почти до утра, спорили мы с Котей до хрипоты и частичного разрушения желания супружеской близости о политике Генштаба, преступности военной бактериологии и химии и прочих беспокоивших мою совесть предметах... Спорили, и я с печальным недоумением разглядывал такое любимое тело, сплошь покрытое блошиными укусами. Долго спорили.

Я, как всегда, примолк, потому что, повторяю, не в силах был принести единственное свое – семейное – счастье в виде высоконравственной жертвы на алтарь воспаленной и страдающей совести. Этого сделать я никак не мог. Мне оставалось только залечь в закрытую клинику и попытаться установить спасительное равновесие, как сказал Шеф, между амбициями этой самой совести и отношением к неизбежным странностям современного мира и человеческой истории. Может, подумал я в отчаянии, действительно неадекватно реагирую я на условия развития жизни и науки? Может, похожу я при этом на патологически мнительного человека, которому кажется, что все люди только и делают, что назло ему портят воздух в общественных местах и при этом ехидно про себя подхихикивают, тогда как воздух вокруг не запакошен ни малейшим шkodничством, а причины мнительного беспокойства опасно размещены в незащенной психике раздражительного существа?...

Нет, решил я, тут, должно быть, что-то не то. Обоняние мое слишком уж распоясано и травит разум запахами явлений, которые и заглушают работу мысли по небрежливому освоению противоречивой действительности... Залягу и вообще обращусь к закрытой медицине с просьбой о ликвидации во мне чувства обоняния. Нос в конце концов – не пара глаз и не лопотушь, необходимые в нынешних условиях существования на этом, во всяком случае, свете... Запах котлеты или жены можно взять и вообразить со всей возможной силой. Зато со скольким зловонием покончу я разом и сколько всего дурнопахнущего смогу держать презрительной своею, но ныне бессильною волей на джентльменской дистанции!

Одним словом, с этими настроениями я залег подремонтироваться, захватив с собою из дома – чтобы не изнывать от скуки и тоски – любимое художественное произведение «Нос» Н.В. Гоголя. Полеживаю, почитаваю таинственное это иносказание писателя, крайне чуткого на распространение в мире и в жизни даже самых мелких грешков, источающих вполне сносную для терпения и нюха неприятность, не говоря уж о его чутье предельно выразительного смердения мирового зла. Не случайно, думаю, взялся он за «Нос», не случайно профилактически откочерыжил его с физиономии героя, перед тем как отважиться в одночасье на путешествие по моргообразным пространствам – местообитанию Мертвых Душ... Так вот и я, думаю, поступлю... В наше время ничего откочерыживать не надо... Нос же – это всего-навсего видимое олицетворение скрытого в моем мозгу больного органа обоняния... Введут в мозг электродик, впустят в нужное место разрядик тока, да к тому же перекроют смежные связи мысли с запахами всего того, что, на нюх нормальных людей, не только не пахнет, но и не должно пахнуть... Слишком тяжело чувствовать и осознавать все непотребное в себе самом и в людях, да еще вдобавок обонятельно изнывать от миазмов внутренней и внешней политики правительства, кошмарного бздо Запада и мелкой смердины окружающей действительности... Тяжко...

Котя плану моему весьма обрадовалась. Просто расцвела, словно первую брачную ночью нашей в махоньком домике на садовом участке... Черемушка... душок черемуховый, доводящий носоглотку до форменного опьянения...

Я, говорит Котя, так радуюсь, что решился ты подремонтироваться и отдохнуть сверхчуткой своей душой от безумной сложности жизни, что уже теперь как бы предчувствую твое возвращение... Ну у меня от слов таких вдохновляющих в глазах – роса, в душе – вокзальная тоска, в уме – отсутствие осмотрительности. Мужественно готов к единоборству с клиническим временем пребывания в спецдурдоме исследовательского типа... Напоследок сказал так:

«Вы хоть обращайтесь с пленными по-человечески. Не трансформируйтесь в освенцимский фашизм. Наука наша проклятая наукой, но ведь и совесть иметь надо. Надо душою воспринимать – **что к чему**, а не брести за научным любопытством, как голодные собаки бредут за обмусоленным кукишем...» «Это все, – ответила обнадеживающе Котя, – они там в тебе подлечат. Я сама позвоню Главному и все объясню. Главное: давай – полегче. Поверь наконец, что цинизм в малых дозах просто необходим всем нам для здорового выживания в современных условиях. Можем мы изменить существующий и не нами с тобой порожденный порядок вещей?» «Не можем», – сказал я на прощание, хотя что-то во мне сопротивлялось такому унылому согласию с беспросветностью исторических перспектив. Что-то сопротивлялось во мне и настоятельно требовало, так сказать, обнародования, то есть желало забастовать и высморкаться прямо на парадный китель генеральского этого **порядка вещей**... Без меня, господа... без меня... вы, позвольте заявить решительно и бесповоротно, **очумели**...

Но поздно было на пороге прощания с любимым существом выкаблучиваться по-граждански. Поздно. Тем более, предчувствие возвращения домой в поправленном виде может морально обезоружить любого сомневающегося в порядке вещей человека...

Не буду описывать своего пребывания в **нейросекторе** «закрытой клинички», как сказал мой Шеф. Сотрудники, которых бросили на исследование моего обонятельного феномена, ни о чем меня не расспрашивали. Им, очевидно, со слов Коти и Шефа все уже было известно. Это меня существенно взбодрило, потому что мысль о тупой необходимости заполнять «историю болезни» заполняла скверной тухлецей ум и отравляла настроение сердца. Конечно, размышлял я, без наличия у врачей таковых историй, несмотря на яркость всей симптоматики, проблема излечения усложняется. Но почему бы им не допустить, в **моем** хотя бы случае, что история **моей** болезни – прямые и непосредственные потемки. Ничего тут не доищешься. Это все равно, что рыть колодец не вглубь, а вкривь и вкось.

Нелепо. Ясно, что всплыл во мне оригинальный ген, а вот отчего он всплыл и откуда – не дороешься... Пригните мне его, пожалуйста, и на том я скажу вам спасибо. Хватит. Нанюхался... Лечись и сравнивайся с остальными людьми возможностями обоняния, терпения, рассудительности и скромностью воздержания от злобного протеста... Иного выхода нет...

Затем ученые и их ассистенты начали готовить меня к конкретному, как они выражались, вмешательству в участок мозга с локализованным там центром гипертрофии чувства обоняния.

Само это «вмешательство» прошло безболезненно. Только странно мне было после анестезии привыкаться к атмосфере палаты и не учуять ничего, кроме стерильного покоя. Голова не болела. Повязка не мешала. Чувствовалось, что череп предельно выбрит. Ясно было также, что око телекамеры направлено прямо на меня. Но это не раздражало. Наслаждение мое покоем не хотелось нарушать ни движениями, ни речью. Меня мог бы понять в те часы человек, проживший всю жизнь, скажем, в кузнечном цеху или в лаборатории, где ни на секундочку не умолкает рев испытываемых моторов, а потом внезапно выброшенный судьбою в дикий лес и убаюканный полным безветрием... Такой это был покой, происходивший от бездействия обоняния. До носа я даже не желал дотянуться слабою рукой. Казалось, что вместо него на физиономии моей – голое место. Пустырь, никому не напоминающий о стоящем здесь некогда нелепом и досадном строении... Дышал я только ртом, побаиваясь возобновления действия нюха в обеих бесчувственных наконец-то ноздрях... Не мешало бы, думаю, слинять из НИИ. Без меня, скажу, господа, без меня... Сам же готов работать в таком состоянии даже в морге Первой Градской больнички, запашки из которого проникали, бывало, в детстве в коммунальную нашу каморку, доводя меня до панического ужаса и судорог омерзения...

В морге, думаю, теперь мне будет гораздо легче, чем с еще живущими товарищами людьми. Там – как на лугу, присыпанном глубоким небесным снегом: ни аллергии с чихом

и слезою, но чудесный сон природы, затягивающий и тебя в блаженнейшее забытие... Или – так-то оно будет вернее – как на городской свалке, начисто погребенной под ночным снегопадом. Вблизи от одного из таких тоскливых кладбищ цивилизации пришлось мне существовать в молодости, что не могло, конечно, не наложить печати угрюмой брезгливости на мои размышления о сотворенной человеком на Земле **второй природе**. Никак не могу удержаться и не добавить – **природе**, довольно бездарно враждебной **первой**, истинной и великолепной со всеми своими стихиями – как смертоносными порою, так и ублажающими душу и благородно подкармливающими тело человечества... Нет теперь для меня, мечтаю все проникновенней и проникновенней, служебной атмосферы уравновешенной и благоприятней. Тишина. Свободы, Равенства и Братства весьма удачный вариант, как сказал поэт. Всех одинаково жаль... На свалку, разумеется, легче будет устроиться, поскольку, по слухам, работа в морге весьма обогащает.

Много чего приходило в мою голову в первые дни после нейрооперации в порядке озачищенности и пересмотра принципов жизни. Много чего вспоминалось из того, что вытеснено было памятью из своих заглазников или вовсе не принято, как казалось мне, в согласии с моим отношением к разного рода мировым и общественным отвратностям. Я словно бы переживал заново все, что не в силах был пережить ранее, однако переживал без какого-либо содрогания и впадения в беспредельное уныние...

Кстати, в первую кормежку я довольно равнодушно отнесся к вкусовому одноподобию принесенной мне пищи. Плевать, думаю, когда ученые фиксировали на тончайших приборах обонятельные мои реакции, что биточек, хлеб и компот теперь уже оригинально не пахнут, что и на вкус они существенно поуявили – плевать. Если бы человека вообще – в соответствии с мечтой Митеньки Карамазова – слегка по всем статьям и страстям вдруг сузили, то все мы гораздо меньше безумствовали бы, не так бесились с жиру по всякому малозначительному поводу и, уж конечно, совокуплялись бы не ополоумевши – ни с того ни с сего, – но исключительно сдержанно и целесообразно, как и положено Венцам Творения. Меньше бы обращали внимания на избыточную тягу к перемене внешних мод, но углубленней внимали бы оттенкам развития чувств и мыслей, не говоря об упоении постоянством и волшебной роскошью мод в царстве растительности. Кто знает – может, и причин для умонепостигаемой взаимной вражды лиц и народов стало бы вдруг меньше, а истина того, что человек человеку – брат, проникла бы непосредственно в сердца и души, преобразившись из настораживающей и сомнительной для многих мысли в самый властный и чуткий инстинкт поведения?... «Да, да, да! – самозабвенно отдавался я ничем не сдерживаемому потоку размышлений. – Если бы трепливая наша и обросшая ложью КПСС вместо хронически холостых и невыполнимых своих бездарных постановлений и решений «о дальнейшем расширении ассортимента...», «дальнейших шагах по увеличению...», «дальнейших мерах по углублению борьбы с...» отчаялась вдруг на действительно историческое постановление «о дальнейшем сужении эффективной натуры советского человека с одновременным эффективным расширением его человеческих обязанностей и гражданских прав...», то все мы в ближайшие же пятилетки поумерили бы свои амбиции в жизни, науке, политике и хоть слегка взнуздали бы безрассудство погибельных страстей и интересов... Хотя, – тут же отвернулся я от плохо прикинутых проектов, – если за назревшее дело некоторого сужения «слишком уж широкого человека» примется именно советская власть, то в лучшем случае никакого не произойдет нравственно необходимого «сужения» нашей исторически распоясавшейся натуры, но настанут времена всеобщего и уж окончательного обмельчания этой самой непокорной и сверхзагадочной стихии... Лучше пусть все идет своим чередом и в порядке персональной борьбы с дальнейшим расширением человеческой натуры... Может, со временем мы и сами потихоньку сузимся. Сузимся и скрутим горло некоторым нашим основным заносчивым амбициям, а там, даст Бог, сужение такое настанет, что

мы при жизни еще сможем спокойно протискиваться сквозь игольное ушко, к полнейшему изумлению партии и правительства...»

Явилась ко мне сразу же на свидание Котя. Уткнулся в ладонь ее сжавшимся от растроганности носом, тыкаюсь по-щенячьи, и не беспокоит меня, как всегда, слишком уж настырный и едкий запах ее зарубежной парфюмерии, к которому я всегда относился с раздражительной ревностью, а порой и с ненавистью. Правда, общее мое чувство чудесной неповторимости жены лишилось такого одного качества, которое в словах невыразимо, которое даже я – гипертрофик обоняния – учуивал с большим трудом, да и то в минуты наивысшего подъема душевных сил, и которое можно было бы весьма приблизительно назвать качеством предельного родства и любовной единственности. Но Котя не перестала бы быть Котей, если бы я, скажем, ослеп, ко всему прочему, оглох и трагически атрофировался как мужская половина нашего совместного, предельно цельного чувства? Не перестала бы, безусловно. Да если бы даже замер я безмолвно и неподвижно с полным притуплением осязания на инвалидном ложе, подобно пресловутому Н. Островскому, если бы лишен был возможности на ощупь определить, кто тут безутешно склонился в данный момент над печальным моим полутрупом, то верил бы я, верил, верил – склонилась надо мною Котя...

Беседуем о том о сем. К работе НИИ не проявляю никакого интереса. Прошу посуетиться и настоять на скорейшей моей выписке отсюда. Настроение у меня жизненное, а желание близости сводит вечерами с ума, хотя подумываю о необходимости сужения себя по этой части. «Как, – интересуюсь, – проводишь время? Кого видишь? Что читаешь?» «Времени ни на что не остается, – отвечает Котя. – Иногда сутками пропадаю в лаборатории. Проводим контрольные опыты... Только не волнуйся и не принимай всех этих необходимых для развития науки дел близко к сердцу. Я настояла на том, чтобы сотрудничающим с нами объектам – пусть даже все они басмачи – вводили инъекции, во много раз уменьшающие чувствительность кожи. Теперь серии укусов почти их не беспокоят. Практически они не чешутся... Если бы не военные этнографы, работа шла бы гораздо быстрее. Эти хлюпики изучают открытый мною феномен долговременной связи „НАДАФКИ“ – ласковое прозвище блохи – с кусаемой этнической общностью. Говорят, что исследования эти необходимы, в свою очередь, бионикам. Морока. Хотя я, поговаривают, схлопочу Государственную и по кибернетике как эффективная смежница. Сможем, подождив, внести за „жигуленка“. Тебя все ждут не дождутся. Черненко по-прежнему крадет спирт, нажирается и не в состоянии выдуть тонкого подхода к сенсорным датчикам реторт...»

Лепечет все это Котя, а я внимаю без малейшего трепета нервишек. В лепете – неделю назад у меня от него крапивница пошла по шее и изнанке предплечий – не учуиваю не то чтобы никакой скверны, но не учуиваю я в нем даже смысла. Равнодушно киваю. Тихо покручиваю пуговичку на пизжаме. Котины пальчики перебираю. Хотелось бы поцеловаться, но проклятый сосед по палате, не переставая, бормотал свои безумные задачки по идиотской математике и одержимо расхаживал мимо нас с Котей.

Я попросил Котю удалиться и настоять на моей выписке. Перед выпиской меня подвергли всесторонней проверке. В истории моей болезни, повторяю, были перечислены Котей, Шефом и некоторыми моими опрошенными знакомыми «атрибуты жизни, на которые больной реагировал резко отрицательно и ассоциировавшиеся в его обонянии со всем дурно пахнущим». Включали магнитофон. Я слышал разговор подростков в подъезде... высказывания каких-то граждан по поводу подорожания водки... абзацы из передовой «Правды»... унылые звуки речи пленных афганцев во время проводимых на них опытов... Много чего я слышал и думал, что записи подобного рода являются не чем иным, как доносами на меня – форменными доносами, хотя и сделанными с благожелательной целью... Но обоняние мое было бесчувственным. Меня не подташнивало ни от мата, ни от скабрёзности, ни от социальной тухлятинки, ни от скверного слова «донос»... Я спокойно думал об «атрибутике жизни» в соответствии

со всеми всегдашними вкусами, нравственными установками и так далее. Но думы мои были оптимистичны, а не невыносимы, как до операции в черепе. Они не мешали жить и как-то освободительно одухотворяли своим очевидным благородством. Мысленно я отнес себя к самому омерзительному для меня прежде типу людей – к сытым и всеустроенным советским либеральчикам. Встречал я их и среди институтских подружек Коти, прикипевших к кандидатским и докторским микроскопам, и в домах отдыха, где они уютно покачивались на коротких волнах «вражеских голосов», и среди своих близких знакомых. Они «буквально проглатывали», по их выражению, самиздатские романы и прочие печатные обличения власти; они восхищались от всей души как неистовством «Солжа», так и «очень дельной конвергенщиной Сахарочка»; они воротили носы от газетной лжи; они поругивали правительство за полную бездарность, а партию – за бесстыдную кастовость; они покручивали пальцами у височков при разговорах о «безумных внешнеполитических авантюрах» и так далее. Но на отчаянно и по пьянке поставленный кем-либо вопрос: «Так что же делать, господа?» – разводили руками, и на лицах их появлялась печать возвышенного почтения к тому, что они считали священным и жутковатым божеством, – **к исторической необходимости**. На меня-то от этих двух слов налетало обмораживающее бездушие сверхнизких температур, начинало подташнивать, хотелось разнести все вдребезги, я начинал дерзко спорить, но руки мои опускались от безмерной усталости сердца и полной безнадежности, когда все остальные дружно сходились на том, что ни в коем случае нельзя раскачивать лодку. **Нельзя раскачивать лодку...**

С этими словами я и вышел из клиники. Шел домой пешочком. Шел осторожно, как бы стараясь не нарушать нового и небесприятного для меня чувства равновесия жизни. Постоял просто так пару минут в какой-то очереди, чего раньше терпеть не мог из-за устоявшейся вонючей многолетней унижения, которой несло от подобных людских скоплений... Ничего, подумал, стоять можно, раз все стоят. Не в крематорий же очередь, а за коврами...

Явился домой. Меня ждал обед с винцом. Котя премило суежилась. Сообщила, что вскоре поедет в Женеву как новоизбранный член Всемирной организации «Врачи за предотвращение ядерной войны» или чего-то в этом роде. Меня все это мало трогало. То есть вообще не задевало. Я и ел равнодушно. Потому что – одно дело, когда различаешь и смакуешь вкус бульончика, пирожка с мясом и рисом, цыпы под каким-то диковинным соусом, а главное – винца, но когда все блюда на один вкус, тогда – другое дело. Пожевываешь себе и подумываешь с некой иронической печалью о странной исторической необходимости поддерживать жизнь таким вот причудливо опоэтизированным образом – изощренная рецептура блюд... десятки тысяч соусов... сотни специй... бесчисленное количество их смесей... зачем? Ведь лошади и коровы одну траву жуют, а сил у них намного больше, чем у нас, похрустывающих косточками цып и лопающих на десерт творожный торт с малиной... Зачем все это?... Зачем?... Надо упростить меню и перейти на служебный спирт... Теперь от него, очевидно, не будет разить античеловеческими добавками...

Разумеется, мы с Котей залегли в кровать после просмотра информационной программы «Время». Кстати, когда диктор Кириллов сообщил, что камвольный комбинат имени XXIII съезда партии досрочно сдал государству десятиллионный метр ткани, я только усмехнулся под испытующим взглядом Коти. До операции в мозгу меня просто выворачивало от омерзительного наигранного пафоса всех этих наших дикторов и от того, как они дают всем понять, что только служебный долг мешает им разрыдаться от волнения при сообщении о досрочно произведенном в Воронежской области ремонте сельхозинвентаря или о повышенных обязательствах, которые взяли на себя в преддверии... Ужас. Ужас... Но в тот вечер я равнодушно заглотил всю телебредню, и мы залегли в кровать...

Половое сношение с Котей произошло довольно физиологично, то есть формально, без частичного самозабвения и судорожного счастья постижения тайны соития с любимым человеком. Возможно, произошло это потому, что я не учуял, как всегда, чудного и дикого веяния

лаванды от постельного белья. Возможно... Но лучше оставить малосущественный разговор об интимной жизни...

На работе все встретили меня с искренним воодушевлением. Спирта было вылакано рекордное количество. Пил я его как безликую жидкость. Прилично закосел. На закуску слопали списанную из *«отдела изучения последствий усиленной радиации»* жирную курицу. Ее не успели еще облучить. Зажарили курицу в фольге, в керамической печи, с картошкой, маслинами из еженедельного пайка Шефа и лимоном. Пили и ели, рассуждая, что уж лучше нам первыми нанести однажды неотразимый ядерный удар по врагу, чем зевнуть и оказаться зажаренными в верхнем слое земли вместе с курицами, овцами и овощами... Раз пахнет исторической необходимостью атомной войны, то надо вдарить первыми. Один раз вдарить, принести в жертву массу не собственного народа, а уж потом... потом наступит долгожданный мир... потом бросим все ресурсы на сельское хозяйство... Солжа издадим... Сахарова подлечим и даже назначим Президентом Содружества Победителей... Свернем военную бактериологию... История не может не оправдать тех, кто нанесет первый сокрушительный удар с благородной целью навсегда покончить с войнами и резкими социальными контрастами...

Я все это слушал и помалкивал. Не отвращался. Пусть себе порят чушь. Стеклодуву, нелишне будет заметить, пить спирт во время рабочего дня ни в коем случае не следует. Стекло, можете мне поверить, не бесчувственно. Оно требовательно и благородно воспринимает состав твоего дыхания, и это отражается прямым образом на характере отношения выдутого предмета – особенно предмета тонкого и замысловатого – к ходу сложного опыта. Кроме того, стеклодуву пить на работе весьма опасно. Этого я и не делал никогда. Пил с друзьями после работы. Спирта всегда было – по горло. А в тот день мы прямо с утра начали обмывать мое возвращение и излечение от странного психотелесного недуга. Одним словом, надрался я до того, что забылся и дунул сивухой через свою трубочку в раскаленную блямбу. Подостыв уже в законченном изделии, выдутая блямба ответила мутноватостью в изгибах, а на прикосновение к себе специальным моим камертончиком алкогольно тренькнула, но не зазвенела чистосердечно и благородно. Кроме того, я с ней порядком намучился и чуть было не опалил губы. Ведь сивушный дух в соприкосновении с высокой температурой и под грудным давлением, когда попадает он внутрь выдуваемой вещицы, имеет неприятную тенденцию возмутиться от жара и стеснения и рвануться обратно. Могла и меня постичь судьба многих моих коллег, но я увернулся вовремя, додул кое-как, отдал заказ Шефу, получил от него еще грамм двести, и гулево наше продолжалось даже после работы. На следующий день изделие мое лопнуло во время опыта, чего раньше никогда не случалось. Стекло, повторяю, не бесчувственно, как и прочие природные вещества, находящиеся в контакте с человеком и подвергающиеся наступательным порывам его безумного любопытства.

После этого я завязал с выпивкой во время рабочего дня. Живу довольно рыбообразно. Полный вокруг меня штиль.

Лодка не раскачивается. Плевать мне, думаю, на всех на вас и на себя в том числе. Порядок вещей мы изменить не в силах. Хорошо, что хоть пованивать перестало от мира и общества... Интересно мне было поболтать по душам с некоторыми случайными человеконогими личностями, к которым пару недель назад я бы близко не подошел. С Котей тоже установились спокойные отношения. Делами ее не интересуюсь. Осуждений не высказываю. Обсуждаем, что она мне приволокет из Женевы, где вся их шарашка собиралась обратиться в ООН с воззванием насчет гуманистических принципов современной науки и роли врачей в борьбе за мир. Прошу привезти пару фирмовых галстуков и чего-нибудь возбуждающего аппетит. Потому что с полной потерей обоняния я перестал ощущать вкус пищи с прежней чувствительностью и избирательностью. К жратве уже не тянуло, а отталкивало от нее. Все – каша, резина, пойло, сухомять и баландамерия...

Проходит примерно месяц. На черепе моем стали отрастать волосы. Живу спокойно, но попивать спиртик – попиваю. Без него, чувствую, вообще пропадает аппетит не то что к еде, но к брачной жизни и к ежедневному существованию. Не случайно же советский наш алкоголизм всенароден. Притупила, соображаю, советская власть вкус людей к истинно достойной жизни, вот мы и докомпенсировались чуть ли не до всесоюзной белой горячки. Природа везде свое возьмет, думаю, если не благородным, то поганым каким-нибудь образом. Природе брезговать не приходится. Человек протестует против чрезвычайного управления собою и намеренно искажает свой образ перед всевластным рылом правительства, потому что если ему не дают существовать правдиво и возвышенно, то он должен хоть в ужасном деле самоуродования проявить некоторую инициативу...

Вызывают меня однажды на партбюро. Если, прикидываю, начнут пропесочивать за выпивки и вымогательство спирта у научных кадров – пошлю их всех к ебени матушке. К матерку, должен сказать, я быстро пристрастился после операции. Не злоупотреблял бранью и сквернословием, но взял все, от чего прежде с содроганием отвращался, на вооружение. Нельзя и в таком деле так уж горделиво противопоставлять себя народу. Раз слился ты с ним и в выпивке, и в полном наплевательском отношении к творящейся от нашего имени истории, то и в остальном сливайся. Ходи на хоккей. Поругивай провинцию, обжирющую Москву-матушку. Тупей от «Правды» и антисоциалистских книжонок. Строчи – мудак – письма Рейгану, чтобы прекратил он свои звездные войны против территории нашей Родины. Проклинай одновременно кубинцев, черных и арабов, которые высасывают все жилы из русского Ивана, а потом, скорей всего, насрут за пазуху в знак глубокой благодарности за нашу верность интернациональному долгу и делу освобождения народов от ига империализма. Завидуй, разумеется, полякам и ненавидь их же за собственную твою зависть. Они хоть отлягнулись слегка от партии и правительства и напомнили этим придуркам, что у народа еще имеются копыта...

С такими вот мыслями я направился в партбюро. Но если, думаю, в партию они меня вдруг возжаждали затащить – упрусь. Благодарю и извиняюсь – не сумею. С политическим чутьем у меня беда. После такой сложной операции мне нужен санаторий, а не партсобрание...

В памяти моей навек, наверное, закрепился смрад подобных мероприятий. Примерно так воняют подолгу не убираемые на лестничной клетке пищевые отбросы для каких-то мифических поросят или портянки постового милиционера после целого дня службы в летнее время...

Строить коммунизм, товарищи, я вам подсоблю в меру сил и гражданской сознательности, но в авангарде трудящихся быть недостойн. Начальства и без меня хватает... Кроме того, я с детства боюсь партбилет потерять. Тетя Нана из нашей коммуналки посеяла где-то этот почетный документ и тут же тронулась. Лет пять ползала на карачках по коридору, по кухне и даже по двору – все искала потерянную святыню. Потом померла, а партбилет нашли ее наследники под буфетом, куда она сама его заложила от страха потерять. Завернут он был в бумажку, а на бумажке было написано рукою тети Наны: «Лежит под буфетом»... Без меня, давайте, без меня...

Заявляюсь в партбюро. Там сидят трое незнакомых мне лиц. Парторг НИИ, чувствуется, подналожил в брюки по неведомой мне причине. Все молчат. Уставились на меня – и молчат. Затем парторг вызывает моего Шефа и Котю.

Никак не могу сообразить, что к чему. Может, насчет спирта? Или кто-то тиснул донос, что слопали подопытную курицу? От зависти люди чумеют. А может, холодею от ужаса, курица та была облученной?... Но почему дергают одного меня, когда закусывали ею не меньше шести человек?... Начнут лечить или посадят?... Тут явились всполошенные Шеф и Котя.

– Партбилеты – на стол! – с бешенством крикнул им один из пришельцев.

Ноги у моей Коти подогнулись. Мне пришлось поддержать ее. Она полезла в сумочку за партбилетом.

– Не лучше ли сначала объясниться, – сказал Шеф. – Давайте без наскока. Вы разговариваете не со школярами. Я – член-корреспондент Академии наук СССР. Константина Олеговна Штопова – руководитель особо важного и актуального проекта, если вы в курсе дела...

– **Мы** в курсе всех дел. По чьей инициативе был положен на операцию стеклодув Штопов?

– Вы понимаете, что вы наделали?

– Вы отдаете себе отчет?

– Тратите миллионы черт знает на что...

– Втираете очки партии и государству...

– У вас под носом находилось **чудо природы...**

– Вы оперировали его и уничтожили, чем нанесли урон...

– Вы понимаете, что вы на-де-ла-ли?...

Когда пришельцы досыта наорались, выяснилась вот какая штука: в той самой клинике, где мне пригнали в мозг гипертрофию нюха, шла борьба не на жизнь, а на смерть между двумя группировками. Одна из группировок сразу же после моей операции тиснула донос на другую. Так, мол, и так, в руках гудимовцев оказался феномен, который можно было использовать по назначению, поскольку нюх у него был мощней самой тонкой аналитической аппаратуры. При некоторых видах секретной деятельности он был бы незаменим. После операции, которую мы считаем вредительской и антинаучной, нос оперируемого можно выбросить на свалку. Нашей отечественной бионике и непосредственно КГБ и ГРУ нанесен непоправимый ущерб... привлечь к суду и ответственности... недостойны звания ученых, подобно отщепенцу Сахарову... просим лишить орденов и медалей с взысканием Государственных премий...

Все это дошло до меня после негромкого чтения некоторых документов, находившихся в зловеще-красной папке.

– А теперь давайте говорить без эмоций и строго по делу, – сказал Главный, судя по всему, пришелец. – Разумеется, все происшедшее – случайность, а не злой умысел. Мы понимаем, что с таким обонянием Сергею Ивановичу было очень непросто жить и работать. Но вы-то? Вы ведь ученые, товарищи. Вы же обязаны были подумать о прикладных возможностях феноменального обоняния товарища Штопова. Мы покупаем дорогостоящую аппаратуру и электронные различители запахов. Мы используем лучшие наши разведкадры для проникновения в научные логова врага. Мы сократили капиталовложения в сельское хозяйство и промышленность группы «Б», с тем чтобы форсировать создание сверхчувствительных, так сказать, ищеек и всевозможных детекторов, эффективно расшифровывающих трансформационную связь обоняния с мыслительным процессом, а вы... вы действительно уничтожили **чудо природы – живое чудо природы**. Это так же преступно, халатно и непоправимо, как не подумать об идее летательного аппарата, увидев крыло птицы. Не только не подумать, но и лишить птицу крыльев, возомнив, что крылья... крылья, товарищи, мешают птице ходить. Вы превратили орла в курицу, товарищи ученые...

Они там еще переругивались и откалякивались, признав, что прозевали феномен природы, а я сидел себе и почему-то думал о слопанной той самой курице, которая не дожидаясь облучения и многонедельного наблюдения за развитием в ней лейкемии и за графиком выпадения перьев и пуха. Курицу несколько было не жалко. В жареной курице, обложенной маслинами и лимончиком, было что-то, думал я, драматическое и величественное, не говоря о полезном. Это у нас в стране населению не хватает куриц. На Западе же – чем больше их лопают, тем усиленней воспроизводят. Идет поддержка жизни на Земле вегетарианским и прочим способом. И не облучать надо куриц, но кушать и детишек растить на курином бульоне, а не на мучном отваре из-под фабричных пельменей...

– Сергей Иванович, – окликнул меня Главный. – **Мы** тут оперативно посовещались. Не беспокойтесь. Вас в любом случае не будем привлекать к ответственности, а вот вдохновивших вас на операцию по уничтожению чуда природы, объективно говоря, принадлежащего народу, непременно привлечем. Это будет конец их карьеры, если мы все вместе не примем быстрых восстановительных мер. Политбюро дало «добро» на их принятие, не считаясь с затратами на вызов из Швейцарии, Израиля и США виднейших нейрохирургов и прочей шатии-братии. Дело за вами. Вы, конечно, не понимаете и не понимали, какой заложен в вас потенциал исследовательских возможностей. **Мы** объясним вам это в ближайшие часы. Правда ли, что, прочитав, скажем, чье-либо письмо, вы со стопроцентной точностью можете определить по запаху или по чему-то там еще, лжец автор или же не лжец?

– Запах имеется у всего на свете, – отвечаю уклончиво. – Есть даже запахок отсутствия запаха...

– Могли вы до этой трагической операции определить характер и некоторые другие параметры личности только по источаемому личностью этой запаху?

– Определяют же, – говорю, – собаки, кошки и даже растения...

Котя с мольбою смотрела на меня. С Шефа же как бы слиняла обычная его вельможная самоуверенность. Он постарел у меня на глазах – до того чего-то перетрухнул.

– Ну почему, почему вы, Сергей Иванович, не обратились к **нам**, когда заметили у себя необычную способность, отличающую вас от остальных советских людей? Почему? – с душевной сокрушенностью спросил Главный.

– К кому «**нам**»? – переспросил я, хотя сомнений никаких не могло быть, что за учреждение подразумевалось.

– В Комитет... в Комитет, Сережа, – поспешила подсказать Котя.

Я засмеялся.

– Ничего смешного тут нет, Сергей Иванович. Мы теперь выясняем с самого раннего детства всех людей с парапсихологическими дарованиями. Прошли времена мракобесия, когда даже теория относительности считалась черт знает чем. Если бы не мракобесы от науки, мы бы имели, возможно, ядерное оружие раньше Штатов...

– Абсолютно точно, – поддакнул наш парторг, похожий на облученную курицу.

– Не надо **нас** бояться по обывательской и диссидентской привычке, – продолжал Главный. – К **нам** вот пришел недавно молодой человек. Извините, говорит, можете судить меня. Я уже неоднократно притягивал к себе на расстоянии челюсти с золотыми и платиновыми зубами из ртов зазевавшихся номенклатурных работников в санатории «Барвиха», где работаю официантом. Судите меня, но дайте пойти впоследствии по более высокой линии использования природных способностей. Мы его не судили, и он пошел. Очень далеко пошел. Со временем о нем напишут книги и поставят фильмы. Так же, как и о вас, Сергей Иванович...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.